

Предисловие

Художник — творец прекрасного.
Раскрыть творение и скрыть творца — вот в чем предназначение искусства.

Критик — тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — это своего рода автобиография.

Те, кто в прекрасном видит уродливое, — люди безнравственные, но безнравственность не делает их привлекательными. Это порок.

Те, кто в прекрасном видит признаки красоты, — люди нравственные. Они не полностью безнадёжны.

Но только избранные видят в прекрасном одну лишь Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Книги написаны или хорошо, или плохо. И в этом вся разница.

Враждебность девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана¹, увидевшего в зеркале свое отражение.

Враждебность девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не видящего в зеркале своего отражения.

Нравственная жизнь человека — лишь одна из сторон творчества художника, а нравственность Искусства — в совершенном применении несовершенных средств. Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

У художника нет этических пристрастий. Этические пристрастия художника порождают непростительную манерность стиля.

У художника не бывает болезненного воображения. Художник вправе изображать все.

Мысль и Слово — инструмент, которым художник творит Искусство. Порок и Добродетель — материал, из которого художник творит Искусство.

Если говорить о форме, эталоном для всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Всякое искусство в одно и то же время поверхностно и символично. Те, кто пытается проникнуть глубже поверхности, идут на риск. Те, кто пытается разгадать символы, тоже рискуют.

¹ К а л и б а н — полуживотное, получеловек в трагикомедии Шекспира «Буря».

Портрет Дориана Грея

Искусство — зеркало, но отражает оно смотрящего, а не жизнь.

Если произведение искусства воспринимается неоднозначно, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и животрепещущее.

Если критики расходятся во мнениях, — значит, художник верен самому себе.

Можно простить человеку создание полезной вещи, если только он ею не восторгается. Но того, кто создает нечто бесполезное, может оправдать лишь безмерное восхищение своим творением.

Всякое Искусство бесполезно.

Оскар Уайльд

Глава I

Студию наполняло пьянящее благоухание роз, а, когда по деревьям сада пробежал легкий летний ветерок, через открытую дверь доносился густой запах сирени, перемежающийся с более нежным ароматом розовых цветков боярышника.

На диване из персидских седельных вьюков лежал лорд Генри Уоттон, по обыкновению куря одну за другой бесчисленные сигареты; через проем двери ему был виден объятый желтым пламенем цветения куст раkitника, сплошь увешанный длинными, вздрагивающими при каждом колебании воздуха кистями душистых, будто мед, цветков, золотым дождем струящихся с тонких веток, гнущихся под тяжестью этого сверкающего великолепия; время от времени по длинным шелковым занавесам, закрывающим огромных размеров окно, проносились причудливые тени пролетающих птиц, на мгновение создавая иллюзию, будто окна украшены творениями японской живописи, и мысли лорда Генри обращались к желтолицым художникам Токио, неустанно стремящимся передать ощу-

щение стремительного движения средствами искусства, по природе своей статичного. Монотонное гудение пчел, с трудом проталкивающих сквозь высокую нескошенную траву или с неустанной настойчивостью кружащих над полными золотистой пылью цветками буйно разросшейся жимолости, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона напоминал непрерывно звучащую басовую ноту отдаленного органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, изображенного во весь рост, а перед мольбертом, на небольшом от него расстоянии, сидел и сам художник, Бэзил Холлуорд, чье внезапное исчезновение за несколько лет до этого так взволновало общество и породило массу самых невероятных предположений.

Художник смотрел на искусно созданный им на полотне образ прекрасного, грациозного юноши, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, будто стараясь удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь пробудиться.

— Это лучшее твоё произведение, Бэзил, самое замечательное из всего, что написано тобой, — томно проговорил лорд Генри. — Тебе обязательно нужно послать портрет в следующем году на выставку в Гроувенор¹. В Академию не стоит: у них слишком много полотен и слишком мало вкуса. Ко-

¹ Гроувенор — частная картинная галерея в Лондоне.

гда туда ни придешь, там или столько людей, что не увидишь картин, — и это само по себе ужасно, — или же столько картин, что не увидишь людей, а это еще хуже. Нет, только в Гроуенор, и никуда больше.

— А я, собственно, не собираюсь его выстав-
лять, — ни в Гроуеноре, ни где-нибудь в другом
месте, — отозвался художник, откинув назад голо-
ву в свойственной ему странной манере, над кото-
рой, бывало, подтрунивали его товарищи в Окс-
фордском университете. — Нет, никуда я его не по-
шлю.

Подняв брови, лорд Генри удивленно взглянул
на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми тон-
кими кольцами поднимавшийся от его насквозь
пропитанной опиумом сигареты.

— Никуда не пошлешь? Но почему, дорогой
мой? Что за причина? Станный вы народ, худож-
ники! Из кожи вон лезете, чтобы добиться извест-
ности, но, как только она приходит, не ставите ее ни
в грош. Это ведь глупо! Конечно, нет ничего хоро-
шего, когда о тебе говорят слишком много, но еще
хуже, когда о тебе вовсе не говорят. Этот портрет
вознес бы тебя, Бэзил, намного выше всех молодых
художников Англии, а у старых вызвал бы чувство
зависти, если старики вообще способны испыты-
вать хоть какие-то чувства.

— Знаю, ты станешь надо мной смеяться, —
отозвался художник, — но я и в самом деле не могу
его выставить: слишком много вложил я в него са-
мого себя.

Лорд Генри расхохотался, потянувшись на ди-
ване всем телом.

— Ну вот, я знал, что ты будешь смеяться, и, тем не менее, это так и есть.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я и не подозревал в тебе такого самомнения. Я не вижу ни малейшего сходства между тобой, с твоими крупными, волевыми чертами лица, с черными как смоль волосами, и этим юным Адонисом, словно сотворенным из точеной слоновой кости и лепестков роз. Понимаешь, дорогой Бэзил, он — Нарцисс, тогда как ты... Ну конечно, лицо у тебя интеллектуальное, и все такое прочее, но красота, подлинная красота, заканчивается там, где начинается интеллектуальность. Интеллект уже сам по себе аномалия, ибо нарушает гармонию лица. Стоит человеку о чем-нибудь задуматься, как у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или происходит еще что-нибудь ужасное с его лицом. Взгляни-ка на выдающихся личностей любой ученой профессии — до чего же они уродливы! Исключение составляют, пожалуй, одни лишь церковники, но они ведь никогда не напрягают мозгов. Восьмидесятилетний епископ продолжает твердить те же истины, которым его научили, когда он был восемнадцатилетним юнцом, поэтому неудивительно, что на него всегда приятно смотреть. Твой таинственный юный друг, чье имя, кстати, ты мне никогда не называл, но чей портрет меня так завораживает, вряд ли когда-нибудь о чем-либо думает. Я совершенно в этом уверен. Он безмозглое очаровательное существо, на чье изображение будет всегда приятно смотреть, — и зимой, когда нет цветов, и летом, когда захочется ос-

тудить разгоряченный мозг. Не льсти себе, Бэзил: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не так понял, Гарри, — ответил художник. — Разумеется, я на него не похож, и я это отлично знаю. Да мне бы и не хотелось быть на него похожим. Ты пожимаешь плечами? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или интеллектуально превосходящих других, есть что-то роковое; это своего рода фатум, который на протяжении всей истории словно преследует королей, вынуждая их делать неверные шаги. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире все лучшее достается глупцам и уродам. Они могут преспокойно сидеть и смотреть, как из кожи вон лезут другие. Пусть им не дано почувствовать торжество побед, зато они избавлены от горечи поражений. Они живут, как следовало бы жить нам всем, — безмятежно, ничем не интересуясь, оставаясь ко всему равнодушными. Они никому не причиняют зла, и у них нет врагов... За твои знатность и богатство, Гарри; за мой интеллект и талант, какими бы скромными они ни были; за красоту Дориана Грея — за все эти дары богов нам когда-нибудь придется расплачиваться, расплачиваться самыми ужасными страданиями.

— Дориан Грей? Вот, значит, как его зовут, — произнес лорд Генри, встав и подойдя к Холлуорду.

— Да. Впрочем, я не хотел называть его имени.

— Вот как? И почему же?

— Как бы тебе объяснить... Если мне кто-то пришелся по сердцу, я никогда никому не говорю, как его зовут. Это означало бы делиться им с другими людьми. И знаешь, мне нравится иметь от дру-

гих секреты. Это, пожалуй, единственное, что может в наши дни сделать жизнь увлекательной и загадочной. Самая обычная вещь, если скрываешь ее от людей, начинает казаться интригующей. Теперь, уезжая из Лондона, я никогда не говорю своим, куда еду. А говорил бы, так терялось бы все удовольствие. Глупая причуда, я не спорю, но она почему-то привносит в мою жизнь своего рода романтику. Ты, конечно, скажешь, что все это ужасно несерьезно, не так ли?

— *Вовсе нет*, — возразил лорд Генри. — *Вовсе нет, дорогой мой Бэзил! Ты, кажется, забываешь, что я человек женатый, а главная прелесть брака заключается в том, что он вынуждает обоих супругов постоянно друг друга обманывать. Я, например, никогда не знаю, где в данный момент моя жена, а жена не знает, чем занимаюсь я. При встречах, — а мы иногда с ней встречаемся, когда обедаем вместе в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу невероятнейшие небылицы. Жене удается это намного лучше, чем мне. Она никогда не путается в датах, а со мной это частенько бывает. Впрочем, если ей и случается меня уличить, никаких сцен она не устраивает. Иной раз я даже жалею об этом, но она только подшучивает надо мной.*

— *Мне не нравится, когда ты так говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Уверен, что на самом деле ты образцовый муж, хоть и стыдишься своей добродетельности. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного и*

никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — просто поза.

— Да, быть естественным — поза, и поза эта ужасно всех раздражает! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и сели на бамбуковую скамью в тени высокого лаврового куста. По блестящим листьям куста скользили солнечные зайчики. В траве легонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время они сидели молча. Потом лорд Генри взглянул на часы и пробормотал:

— Боюсь, Бэзил, мне пора идти. Но прежде чем я уйду, ты должен ответить на заданный мной вопрос.

— Какой еще вопрос? — спросил художник, не поднимая от земли глаз.

— Ты прекрасно знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я могу напомнить. Объясни, будь любезен, почему ты решил не выставлять портрет Дориана Грея. Только учти — я хочу услышать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет, ты не назвал настоящей причины. Ты сказал, что в этом портрете слишком много от тебя самого. Но это же несерьезно!

— Пойми, Гарри, — Холлуорд посмотрел лорду Генри прямо в глаза. — Любой портрет, если его пишешь, вкладывая всю душу, является, по сути, портретом самого художника, а не того, кто ему позировал. Натурщик — это всего лишь частность, случайность. Не его, а самого себя раскрывает ху-

дожник в нанесенных на полотно красках. Так что причина, по которой я не хочу выставлять картину, заключается в том, что я непроизвольно раскрыл в ней тайну своей души.

Лорд Генри рассмеялся.

— И в чем же она заключается? — спросил он.

— Попытаюсь тебе объяснить, — произнес Холлуорд с выражением некоторого замешательства на лице.

— Я весь внимание, Бэзил, — проговорил лорд Генри, взглянув на друга.

— Да и рассказывать-то почти нечего, Гарри, — ответил художник. — Боюсь, ты мало что поймешь в этой истории. А быть может, даже не поверишь мне.

Лорд Генри усмехнулся, затем, наклонившись, сорвал в траве маргаритку и стал разглядывать ее розоватые лепестки.

— А я вот не сомневаюсь, что все пойму, — наконец отозвался он, внимательно рассматривая золотистый диск сердцевины цветка. — Ну а поверить я могу чему угодно — разумеется, при условии, что история достаточно неправдоподобна.

Порывом ветра сорвало с деревьев несколько цветков; тяжелые кисти сирени, собранные из тысяч маленьких звезд, медленно раскачивались в наполненном истомой воздухе. Где-то у стены стрекотал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных золотистых крыльях промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, будто он слышит, как стучит сердце в груди у Бэзила. Что же, интересно, собирается рассказать его друг?

— История эта такова, — начал художник по-